Как померла старая барыня, мы достались молодым господам. У покойницы две дочки были барышни.

Меньшая-то смирная была. Сызмала постилась по понедельникам. Из себя уродилась невзрачная, и неловка, и неречиста, так маменька ей насоветывала и приказывала: "Ты уж, Анночка,— говаривала,— ты уж обрекись, голубчик, да постись хорошенько: авось, бог поможет милосердный, женишка какого себе и выпостишь: ты ведь ничем не взяла, бедняжечка".

Барышня слушалась и совестливо постилась. Ну, только женихов не бывало. Уезд-то наш небогатый, а из прочих редко кто попадает. Еще и вот что: хоть и попадет какой, норовит к старшей сестрице прильнуть.

Старшая красавица была. Любовью Михайловною звали. Глаза какие прекрасные, голубые, и беспечные, и лукавые; а брови черные, личико беленькое, румянец алый, а смеялась смехом звонким, что слушать любо. Да вострУха такая, байчивая, бойкая; умела как и поклониться гостю, и попотчевать, и взглянуть! Маменька только, бывало, бога хвалит. "Эта в меня пошла!" — говорит.

А меньшая, войди чужой человек, совсем оробеет, растеряется и онемеет. Сначала маменька ее усовещивала, сердилась, да видит, что все это не от непослушания, видит, как сама она разливается в три ручья,— махнула рукой: "От природы уж такая!" И оставила ее. "Живи себе, как тебе хочется, как уже тебе бог даст!" И еще больше к старшей пристрастилась. "Утешение мое единственное",— так и называла ее.

Барышни и росли себе. Старшая хорошела, расцветала цветом; меньшая все робче становилася. Тут старая-то барыня и померла.

Похоронили, поплакали.

Старшая взялась хозяйничать:

— Ты уж, Анночка, не мешайся,— говорит меньшей сестрице,— что ты смыслишь!

— Хорошо,— та ответила ей покорно.

Была наша Любовь Михайловна хозяйка хотя молодая, да зоркая, распорядительная, расторопная. Она и в зеркало на себя насмотрится, и варенья наварит; знала, как лучше себе косички завить, и умела повара вороватого вывесть на свежую воду. Основательная была барышня. Как маменьку хоронили, ведь как огорчена была, плакала как горько, а ложек серебряных не забыла. В горючих слезах нам говорит: "Смотрите за ложками! Кто их знает, всех этих поминальщиков!" А справляли обед похоронный, и много было чужих.

Как по маменьке прошла печаль, Любовь Михайловне жилось хорошо и привольно; что хотела себе, то и делала. С кем-то в городе познакомилась, в город ездила, веселилась; где ярмарка — на ярмарку; жила, словом сказать, припеваючи.

Меньшая все дома, все в своей комнате. Не то чтоб ее старшая сестра не любила, нельзя сказать; нельзя сказать, чтоб и любила. Видно, что и она ее за дурочку считала, за недалекую. Бывало, лучше по комнатам ходит, да сама себе улыбается, чем сестре сказать слово советливое; не порадуется с нею, не запечалится, вспомнит о ней только за обедом.

Езжали к нам барыни, покойницы сестры двоюродные. Две их было, обе вдовые: Федосья Павловна и Марья Павловна. Федосья Павловна была барыня сухощавая, только огневая: живые глаза, скорые слова. А Марья Павловна поувалистее, и говорила больше нараспев, и еще любила она временем богородною прикинуться. Не приведи ж, господи, какие обе они удались вздорные да сварливые; всегда меж собой в

ссоре. Там одна только скажи, что: "Вот тучи собираются, дождю быть", — чего, кажись, безобиднее? — другая уж взъерошилася. Станут ли мириться — на миру своем еще хуже перессорятся. Кучер их рассказывал, что не раз богу вздыхал: "Оглуши ты меня, господи! Горы ли, долы ли, ведро ли, гроза-буря ли, все одно,— целую дорогу ссорятся". Добрый это человек был их кучер, Платоном звали, только курил он какой-то дурманный корешок, что свежего человека опьянял. Он, впрочем, и сам признавался, что пристрастился к тому корешку больше от горя своего и несчастья.

Приедут, бывало, тетеньки к нам и сядут по разным горницам. Чуть подойдет барыня к одной, другая уж летит в гневе: "Я тебе, сестрица, нужна ли? Я могу и отъехать домой". Кое-как ублажит ее барыня наша, глядь, другая отъезжать собирается, ту надо улещать. Советы у них семейные бывали все больше об меньшей барышне, об Анне Михайловне. Просит барыня:

— Сестрицы, посоветуйте, что тут делать да как быть; Анночка-то моя богом обойдена!

Так одна говорит:

— Оставь ее, живут же люди и без семьи. Какова семья!

А сама глядь на сестрицу. Та уж вспыхнула.

— Надо замуж Анночку! — кричит.— Можно ей смирного какого выискать. Анночка не уморит мужа, как другие!.

— Кто ж уморил? — подхватит сестрица.

— А вы небось своего не спровадили на тот свет? Прямо в рай попал, мученик!

— А ваш-то с чего на смертной постели твердил: несть зла пуща, яко жена зла?

И пошло, и пошло. Крик такой тонкий да звонкий,— вчуже содрогаешься. Велит, бывало, барыня на весь дом закричать: "Пожар!" — или прикажет Никите-кучеру завыть нечеловеческим голосом; тем только и можно развести было.

Сама барыня покойница под конец попечение отложила об Анне Михайловне, а тетеньки все еще споривали про ее замужество.

Жили мы себе спокойно, день за день. Старшая барышня разъезжала; меньшая все хирела.

За старшую женихи сватались. Один сватался военный, не по нраву пришелся, и, правду сказать, неказист был; другой из суда уездного, и этот не полюбился. "Слова сказать не умеет и перо за ухом носит!" — не пошла.

"Чего спешить мне? Еще не последний!" Ей шел всего-то девятнадцатый год, а меньшой восемнадцатый.

На святой приехала к ним старушка Сергеевна от тетенек с поклоном. Старушка была уж старая-престарая и жила она у тетенек на покое. Как бы это вам растолковать-то хорошенько? Ну, значит, это не имей покою и на миг; за всем в доме смотри, все у нее на руках, все на ее ответе… У нас таких старушек доверенных еще и теперь встретишь. Берут их в горницу маленькими девочками, учат уму-разуму толчками. Вот вырастут, выучатся. Случится, что и полюбится кто, посватается, не отдадут: привыкли, мол. Идет время, стареются господа, стареется девушка, вот и старики. Молодые барышни маменькину девушку не трогают. Умрет маменька, они ей старые платья пожалуют, от работы освободят, чашку чаю ей положат. "Маменька тебя любила, живи на покое, бог с тобой, да гляди за всем. Ты маменьке служила верно, и мы

тебе верим". Вот и живет такая старушка, и доживает век, вздыхаючи, как Сергеевна. Я, право слово, заметила, что все они вздыхают; словно что потеряли без возврату, так вздыхают.

Приехала эта Сергеевна к нам, прислали тетеньки племянниц проведать; того году была святая ранняя, в самую распутицу: мосты все снесло, овраги залило, опасно самим пускаться в дорогу. Приехала Сергеевна, и сейчас она увидела, что меньша-то барышня жалка очень. И все она около нее похаживала, все с нею заговаривала. Та, по своему обычаю: "да" да "нет".

— Что это меньшая-то у вас жалкая такая? — спрашивает у нас Сергеевна.

Мы ей рассказываем все, как знаем, и что ее за глупенькую почитают.

— Ох, вы-то разумницы у меня великие! — говорит, на нас головой качаючи.

А нам-то вправду казалося, что и сама Анна Михайловна виною: ведь и вольна, и все есть. Чего ей робеть? Откуда горе?

— Молоды еще,— говорит Сергеевна,— еще не знаете, что горе не всегда по причине бывает. Горю всегда дорога есть, и не в такие палаты горе пробирается.

Это правда. Точно пробирается. А все-таки настоящего-то горя у барышни не бывало.

Вечером, как все спать легли, Сергеевна к меньшой барышне пошла. А барышня богу молится; не видит, не слышит. Заметила — вздрогнула.

Сергеевна ей говорит:

— Что ж испугались, барышня? Это я.

— Чего тебе надо, Сергеевна?

— Да так, пришла к вам. Вот сяду да посижу около вас.

Села себе на скамеечке, а барышня села на своей кроватке.

— Небось скучненько вам деревенское-то житье бывает? Деревня ваша глухая, соседства близкого нету.

— Сестрица в город ездит; там весело,— говорит.

— А вы-то отчего не поедете с нею?

— Зачем же мне ехать?

— Как зачем? Людей, посмотреть. Право бы, съездили, может, и покажется.

— Нет… Мне дома лучше.

— Хозяйничать охочи?

— Нет… Это сестрица.

— А вы что?

— Я… Я шью что-нибудь… погуляю пойду.

— Такое житье молодой голове не приходится. Ну, нечего делать, потерпим, переменится.

— Как переменится? Когда?

— А вот, сядем-ка, погадаем мы с вами: что и скоро ли. Благо, со мной и карты есть; вот мы и погадаем, что нам будет.

Придвинула столик поближе к кроватке, вынула карты и стала гадать барышне.

— Ну, вот и перемена жизни выходит… смотрите-ка, вести радостные; и пиковое вам огорчение вышло, пиковая семерка замешалась, будь ей пусто! Ну, да без этого нельзя. Мы и перетерпим. А вот и отошла она,— туда ей дорога! А вот червонный король присоседился, мысли его около бубновой дамы,— вы ведь бубновая дама,— и лицом к ней обернулся. Все четыре туза вышли: исполнение желания. Желание ваше исполнится, барышня!

— Желание? — промолвила барышня.

— Да, да. Чего вы себе желали, то сбудется!

— Чего ж я желала? — говорит.— Чего мне желать?

— Что ж вы, сердечная моя, неужели и не желали себе ничего?

Она не ответила, а горько заплакала.

— Полно плакать,— говорит Сергеевна,— нам еще надо погадать теперь об червонном короле, что он за птица. Оботрите глазки да поближе придвиньтесь.

Барышня слезы отерла, ближе к столику наклонилась. Слушает, не дохнет. А Сергеевна раскидывает карты да рассказывает:

— Трудно червонному королю. В печальных мыслях наш голубчик! А вот ему и трефовая дорога в трефовый дом: маменька-то ваша покойница трефовая была.

— Он сбирается к нам? — вскрикнет барышня.

— Ах! Карты, было, смешали. И чего пугаетесь? Он еще во двор не въехал. Да и собираться-то как ему, коли еще не знает, есть ли вы на белом свете? А только тянет его куда-то, душа кого-то ищет, вот он и печален. Ему еще две дороги лежат, да помеха будет бубновая. И ехидно советует какой-то вдовец преклонный. Да все его ковы нипочем нашему! Его нам бог сохранит! Вот подвернулась еще смутьянка, пиковая дама! Понапрасну, матушка, бьешься!

Рассказывает Сергеевна по картам, а барышня только все бледнеет да краснеет. Долго гадали они. Уж заря стала заниматься, так вспомнила Сергеевна, что спать пора.

— Ложитесь, барышня,— говорит Сергеевна,— почивайте себе спокойно; будет и на нашей улице праздник.

— Завтра придешь ко мне? — спрашивает барышня, а сама глазами ее молит.

— Приду, приду; а теперь ложитесь. Ишь, сердчишко-то бьется, так и стукает.

Уложила ее Сергеевна, перекрестила и пошла.

Встала на другой день Анна Михайловна да вышла к нам — мы чуть не ахнули: румянец во всю щеку играет. Когда это бывало?

И сестрица старшая за обедом заметила. "Что это ты, Анночка,— говорит,— верно, все по солнцу бегаешь? Посмотри-ка на себя, на

цыганку похожа". А сама глянула на себя в зеркальце напротив: беленькая, нежненькая, щечки алеют,— усмехнулась себе ласково.

Вечером опять Сергеевна пришла к Анне Михайловне; опять гадала. И сколько дней пробыла Сергеевна у нас,— а пробыла дня четыре,— то все по вечерам к Анне Михайловне хаживала, и все они гадали; а уходит Сергеевна, барышня просит карты у нее оставить да сама днем гадает запершися.

Раз Сергеевна ее застала, что сидит она, держит червонного короля, глядит на него, вглядывается и задумалась глубоко.

Сергеевна ей и говорит:

— Думаете вы да печалитесь. А ведь знаю о чем.

— Печалюсь-то?. Да я не печалюсь, я думаю...

— Ну, о чем?. Чего ж запинаться? Грех таиться от меня.

— Я думала,— шепчет,— какой он живой будет?

— Да не такой бородач, как тут, и без копья придет... Будет из себя красен! Глаза хорошие, глядит приветливо, голос душевный, говорит ласково, а темные кудри хмелем вьются.

— Да, да! — ей барышня.— Да! Такой! Он, он!

Сама так румянцем и зарделася.

Отъезжая, подарила Сергеевна свои карты барышне. Старые это карты были; стал от времени и бубновый король черномазый такой, что

издали его не отличишь от пикового,— а барышня взрадовалася, и благодарна как была! На шею бросилась Сергеевне.

Утром прощается Сергеевна, а барышня слезами заливается, ее провожаючи. А старшая сестрица смотрят из окна, удивляются.

— Анночка! Анночка! — кличут.

Барышня не слышит, стоит в одном платьице, рыдает. У крыльца тележка загрязненная, с бурою загнанною лошадкою; усаживается Сергеевна в тележку, вожжи подбирает и оглядывается на барышню как-то надежливо, дескать: горе пронесется, радость будет! А сама старшей говорит:

— Доеду благополучно: глаза-то у меня еще зорки. Вечером, хоть поздненько, а, бог даст, домой доберусь. Тучки разошлися, день разгулялся, может, и солнышко проглянет, веселей будет ехать... Прощайте, барышни!

— Прощай, Сергеевна,— из окна отвечает старшая,— кланяйся от нас тетенькам. Очень видеться желаем,— скажи это, не позабудь.

Говорит это, понимаете, только для хорошего обычая, по родству; а по правде, досаждали ей всегда крепко тетеньки приездом своим.

Покатилась тележка. Барышня вслед глядит, слезы льет. Сестрица крикнула на нее погромче:

— Иди же сюда, я зову!

Вошла тогда в хоромы.

— Что это такое, Анночка,— спрашивает сестрица,— о чем расплакалась? Неужели об Сергеевне?

— Об Сергеевне.

— Об ней? Ну, признаюсь! Как же можно об Сергеевне плакать?

Барышня опять заплакала.

— Послушай, да ты пойми… Тебя, впрочем, трудно вразумить-то! Ну, подумай… Если бы мы с тобой к какой-нибудь графине, к какой-нибудь губернаторше приехали на три дня, а потом и уехали, стала бы губернаторша об нас плакать,— как полагаешь?

— Не знаю.

— Что тут не знать! Конечно, не заплачет. Что мы ей? Ничего. Мы ей не ровня. А Сергеевна как ниже еще! Понимаешь ли ты, или нет?

— Нет, сестрица.

— Ну, тебе не втолкуешь! Однако же, по-пустому не плачь; ты меня слушаться должна. Я старшая сестра, я тебе теперь вместо матери… Что за слезливость вдруг проявилась такая? С чего? Разве умер у нас кто? Слава богу, все хорошо, все благополучно: нечего плакать, грех даже. Сейчас перестань!

Барышня отерла слезы и пошла в свою горенку, а сестрица ее до дверей проводила. Так во всем правые люди виноватых людей провожают,— с видом таким. А потом воротилась, прошлась мимо зеркалов; напевать стала, что "во всей деревне Катенька красавицей слыла", и хоть пела-то она про Катеньку, да знаю, что себя тут разумела, и весело-превесело пела.

Живем мы себе да поживаем, дни проходящие отсчитываем. А меньшая барышня и шитье, и вышиванье — все побросала. Только гадает, да гадает, и ночей за тем гаданьем недосыпает. Подкрадься и посмотри на ее лицо: и вспыхивает, и туманится, и тревожное, и веселое, словно и вправду она перед собой живых людей, живую радость и горе видит. И какими иногда счастливыми глазами на тебя глянет!

Видишь, бывало, проскользнет в сад: точно она сокровища какие несет прятать! И одна себе ходит, думает, жизнью живет. Случалось, как не пошлет сестрица искать к обеду, то и целый день не придет. Ищешь, ищешь, аукаешь, аукаешь: она и выйдет из какого-нибудь заглушья. Сад у нас старый, заросший: и терновники, и вишенники, и шиповники — все спутано, все перевито хмелем цепким. Проберется туда затропочком, да и блаженствует там.

А сестрице и во сне не снится, с чего Анночка блаженствует,— ну, а по зоркости своей уж заметила, что та учащать стала в сад.

Тогда земляника поспевала. Сейчас она по хозяйскому уму сообразила и говорит:

— Ты, Анночка, смотри, не оборви землянику,— не из чего будет варенья варить.

Та на нее глядит: "Какая земляника?"

— Будто не понимаешь, о чем говорю? Я говорю не шутя, земляники не трогай. И так уродило немного, и у меня все ягодки сочтены и замечены… Слышишь, Анночка?

— Слышу, сестрица; я не трогала и трогать не буду.

— Ну, я тебе верю. Да меня и не обманешь. Без шуток, я каждую ягодку там знаю,

Стала сама сестрица в сад хаживать каждый день; кисеей частою закроется, зонтик распустит от загару и идет в сад туда, где земляника спеет. Посмотрит и воротится.

Хоть знала она Анночку за покорную, да все судила, что лучше не плошать. Всяк, видите, по своей мерочке меряет,— а она еще малолеткою говаривала: "Кто ж себе враг?" Бывало, маменька их покойница от неудачи какой по хозяйству закручинится, тужить станет: "Что, если я умру, вас не пристроивши? Что будет с вами?." И учить станет: "Так и так делай; не выпускай добра из рук, коли попадается". А она: "Кто ж себе враг?" — ответит. Только, кажись, два слова, а покойница вздохнет и сейчас успокоится, бывало, об ее участи.

Первый снежок запорошил, приказала Любовь Михайловна сани осмотреть, в город собирается; а тут тетеньки во двор. Досаду затаила, отвечает с веселыми глазами, ручки целует. А у тетенек, видно, сердца кипят. И вот что замечаем: бывало, приедут, сейчас по разным горницам разбегутся. "Отдохнуть! Отдохнуть!" — вопят. А теперь, видим, не отстает Марья Павловна от Федосьи Павловны. Куда Федосья Павловна ни ступит, Марья Павловна следом за нею.

— Пойду-ка я с тобою, Любочка, в кладовую: что нахозяйничала ты, погляжу.

— И я, Любочка, пойду,— подхватила Марья Павловна.

И себе идет.

— Анночка! — зовет Федосья Павловна меньшую.— Поведи меня в свою комнату. У тебя тихо — я отдохну.

Пошли, и Марья Павловна за ними. Пропало терпенье у Федосьи Павловны.

— Вы чего привязались ко мне? — кричит.— Чего следите?

— Да вы-то чего раскричались, как на подданную свою? Я к Анночке пришла; кажется, право имею к своей племяннице прийти!

— Что-то с вашими господами творится чудное! — Платону их говорим.

— Федосья-то Павловна,— рассказывает Платон,— тайком ведь хотела укатить от сестрицы, да поймалась. Только я под крыльцо, Федосья Павловна выбежала, а сестра ее за полу: "Вы не смеете одни ездить, половина повозки моя, и на своей паре я вас ездить не допущу..." И пошли, и пошли. Слушал я, слушал да побрел себе в избу погреться. И возблагодарил создателя за свою Авдотью Ивановну: та хоть накажет, да по крайности покой временный да отдых даст!

Авдотьей Ивановной Платонову жену звали. Тоже Змей Горыныч порядочный, сказывали.

Целый день вместе сидели господа. Чуем, гроза собирается. Ну, ввечеру и разразилась.

Стала Федосья Павловна посеред горницы и возговорила.

— Я,— говорит,— с божьей помощью Анночке жениха нашла. На той неделе пришлет его тетка ко мне, а я за Анночкой пришлю.

— А ты, Любочка, приезжай ко мне,— приказывает Марья Павловна старшей.

— Нет, Любочка, ты не смей приезжать и во двор к нам, пока жених будет: ты еще тетенькиного ехидства не знаешь, а я знаю и запрещаю тебе!

— Так вам вольно к себе звать, а я не могу? — закричала Марья Павловна.

— Если бы божеская искра в вас была, не стали бы вы Анночкину счастью мешать! Уж и на сирот, матушка, напускаться стали! Экое зверство ваше какое!

— Вас-то небось сироты озаботили? Вы из того бьетесь, чтобы мне насолить!

— Я еще вам не так насолю! Я на себя руки наложу, да и напишу к губернатору, что от вас жить не могла!

— Эка, думаете, напугали! Всякая дворянка сама себе губернатор!

— Добро-добро! Тогда увидим… Да я вас ни одной ночи в покое не оставлю: я с того света каждую вас полночь проведаю… Полночь — я и тут!

— Попрошу батюшку осиновый вам кол в голову забить: перестанете являться!

Марья Павловна хоть отвечала смело, а задумалась: таки труслива была. А знала, что сестрица ее и смерти не боится, и если уж наперекор пошло, то, пожалуй, что и руки на себя наложит.

А бедная барышня Анна Михайловна и плачет, и дрожит, и крестится в уголку.

Старшая тоже между двух огней: одна тетенька зовет, а другая тетенька — "Не смей!" Так она и притворилась, что испугалась очень, и молчит перед ними, будто со страху.

Ну, уж когда пообещала Федосья Павловна, что руки на себя наложит,— Марья Павловна смирилась.

— Чтоб вас бог покарал! — говорит сестрице.— И то вам, и то, и то...

Всеми бедами черными наделила, заплакала и ушла.

Федосья Павловна видит, что покорила, и тотчас всем распорядилась: и когда пришлет за Анной Михайловной, и не медлить ей приказала, осмотрела ее платьица, выбрала, какие с нею отпустить. И Любовь Михайловне поручила, чтобы свою сестрицу эти дни огуречным рассолом умывать. "И кланяться ее выучи да внуши, чтобы голову не каурила, чтобы букой не смотрела".

— Хорошо-с, тетенька,— Любовь Михайловна отвечает,— я постараюсь, и все исполню, как вы приказываете.

— Ты подумай, Люба, что и тебе будут руки развязаны,— тетенька ей доводит,— если Анночку пристроим. Ведь меньшая сестра у старшей на ответе.

— Как же, тетенька, я знаю.

На другой день тетеньки уехали. Федосья Павловна весела, добра, а Марья Павловна этакая горемычная сидит в повозке. Укуталась вся платками. "Доеду ли живая до дому?" — сомневалась.

Ну, это она только жалобное слово сказала, и никто ей не поверил.

Почала старшая сестра учить Анну Михайловну приемам приманчивым. А Анна Михайловна у ней просится:

— Не надо, сестрица, я не перейму.

— Ты уж не рассуждай, Анночка, а делай, что говорят. Ну, гляди прямо,— отчего не можешь прямо глядеть, как я? И веселее гляди. Ну, сядь. И сесть-то не умеешь! Ну, и облокотись правою рукой,— очень хорошо может это выйти,— смотри, как я.

И точно, облокотится она,— хорошо у нее выйдет, а барышня никак себе не переймет. Что больше учится, то еще, кажись, хуже выходит.

— Ах, Анночка! — крикнет сестрица.— Это наказание божие с тобой… Ведь ты не малолетняя! Сообрази, что для твоей пользы! Как это всегда ты живешь спустя рукава! Так жить нельзя!

— Сестрица! Что ж мне делать, когда понять не могу?

— Помилуй! Как же не понять того, что нам надо! Постарайся. Что хныкаешь-то только?

— Отпустите меня, сестрица! — просится барышня.

— Нет,— говорит,— учись!

И не отпускает, учит. Та покоряется, глотаючи слезы, а придет в свою горенку, так рыдает, что сердце надрывается. То бросится на колени молиться, то кинется гадать. Не раскинувши гаданья, опять упадет перед образами; не сказавши молитвы, опять за гаданье. Тосковала она, уповала, боялась, ждала… Сердце сжатое из тесноты своей простору искало.

В четверг ввечеру приехала Сергеевна за нею. Праздничная такая вошла.

— В легкий денек приехала за вами!

А барышня ее трепетно встретила и на все слова молчит.

Пятницу переждали: тяжелый день и нехороший; что в пятницу ни начни, во всем будет неудача. Сергеевна все барышню ободряла.

— Чего бояться? — уговаривала.— Вы не бойтесь. И горю, и радости надо прямо в глаза смотреть.

А та ни словечка в ответ. И не гадали даже в тот день.

С вечера в пятницу мы собрались в дорогу. Анна Михайловна ночь целую напролет не сомкнула глаз и одна в своей комнатке пробыла. Сергеевна хотела к ней, да, подумавши, не пошла. Только к дверям послушать Подходила: что с нею?

Рано, чуть еще брезжится, Анна Михайловна вышла и прямо к сестрице. Сестрица еще сладким сном почивала.

— Что ты, Анночка, будишь меня,— разве уж едешь?

— Сестрица, поедемте вместе!

— Вместе? С ума ты сходишь, Анночка!

— Сестрица! Поедемте!

Сестрица удивлена, на нее глядит.

— Сестрица! Если вы любите… если вам жалко меня…

— Анночка! Опомнись! Все может дело пропасть, если я с тобою поеду, и он увидит меня… а ты просишь!

— Поедемте вместе,— молит; слезами так и заливается, руки ей целует, постель целует.

— Полно, полно, Анночка! Что это на тебя нашло? Поди, вели запрягать лошадей, поди!

Пошла от нее Анна Михайловна,— чуть на ногах держится.

— О чем убиваетесь, барышня? — тихо ее Сергеевна голубит.

Она, бедняжка, услыхала, как кинется к ней на шею:

— Сестрица со мной ехать не хочет,— не хочет ему показаться… Все за меня боятся… Ах, зачем они боятся?

— Вы лучше спросите: чего бояться-то?. Так-то на людей туман находит. Не по-хорошу ведь мил, а по-милу хорош; сказалось бы сердце сердцу, душа душе. И еще: кто кому судился. Против судьбы все ухищрения не помогут!

Утешает ее, а она приподняла голову: так радостно, так благодарно на нее посмотрела.

Успела успокоить ее Сергеевна. Плакать она перестала: утихла в уповании каком-то.

Подали лошадей.

— Прощай, Анночка! — прощается старшая барышня.— Пожалуйста, будь ты посообразительнее! Я положила с тобою свой платочек розовенький; не забудь, надень его и береги: это мой любимый... не испорть. Прощай!

И мне приказывала:

— Гашка! Смотри ж ты за всем; не потеряй, не забудь ничего!

Сели мы и поехали.

Морозный был день. Дорога проселочная — не торная. Безлюдно и бело кругом. Солнышко играло в небе синем и по широким полям. Барышня тихо себе сидела и думала. Разрумянилась так, и всему улыбалась она: на небо глянет, от солнца зажмурится, улыбнется; глянет вокруг, глянет на Сергеевну — улыбнется. И Сергеевна ей в ответ тоже улыбнется, а говорить — не говорят. Безмолвно едем все. Только разве Платон вздохнет этак, будто гору поднял.

Уже вечереет; запылала заря вечерняя, и по всему разлилася — по небу и по земле. Морознее еще стало. Догорает и заря; вот и потухла. Засверкали над нами звезды; выкатился месяц золотой. А мы все едем да едем, словно во сне заколдованном.

Вдруг огоньки впереди забегали на горе и чей-то свист послышался. Насвистывали это песню "Не одна во поле дороженька пролегала". Будто очнулись мы все.

— Приехали,— говорит Сергеевна.

И барышня промолвила: "Приехали",— дрожал у нее голосок.

По улице залились лаем собаки вдогонку за нами; на крыльце сама тетенька Федосья Павловна барышню встретила.

— Насилу-то дождалась тебя!

Мельком поцеловала ее, взяла за руку и повела в хоромы.

А тетенька Марья Павловна и не встречает, и не показывается.

— Где тетенька Марья Павловна? Здоровы ли? — спрашивает барышня.

Федосья Павловна порохом вспыхнула.

— Злодейка твоя первая, и ты об ее здоровье сокрушаешься! Я порошок курительный приготовила; думаю, приедет он, войдет, а пахнет приятно. Что же-с? Забудь я, положи этот порошок, исчез со стола! Так вот злоба до чего доводит! Красть даже начала! Дворянка родовая,— ведь сразу-то не вымолвишь,— а крадет: в самые рабские обычаи вошла! А теперь-то лежит от хворости.— Ковы строит! А ты иди ложись сейчас! — барышне приказывает.

— Сергеевна! — кличет.— Отведи Анночку и спать положи. Да умой ее сывороткой и накорми хорошенько! Хоть бы завтра-то она поцветней встала! Чего, матушка, глядишь? Точно с креста снята! — опять к Анне Михайловне.— Засни скорей, Христа ради! А ты, Сергеевна, прикажи ставни у нее не открывать завтра: пусть спит. Иди, иди, Анночка, усни! Спи!

Велела Сергеевна девушкам утром ставней не открывать в барышниной комнате и повела ее туда. Сыворотку я тоже понесла за ними и кушанья разные.

Только барышня не умывалась и до кушаньев не дотронулась. И Сергеевна хоть бы словом одним ее поневолила. И помину у них об этом не было.

— Посидеть с вами? — спрашивает Сергеевна.

— Посидите! — просит барышня.

— Что-то завтра? — сказала Сергеевна.

— Завтра! — промолвила себе барышня.

— Увидим! Что бог даст! Все, барышня, быть может, все… Может, он и по душе не придется, не тот.

— Не тот? — жалко так воскликнула.

— Бывает. Сердце скажет вам. Сердце вмиг почует своего. Что ж вдруг затосковали? Я ведь на всякий случай говорю это; вам все ж нечего крушиться; ждать его будем, а он-таки в свое время явится, а, может, и завтра.

— Может! — повторяет барышня.

— Ну-ка, сядем погадаем.

И сели гадать. Все препятствия: то трефовая неудача, то перекоры бубновые выходят. Сергеевна головою кручинно покачивает.

— Не велика беда,— приговаривает,— мы еще подождем.

Прощаясь, Сергеевна ей в утешение говорит опять:

— Не горюйте: все еще впереди.

— Да,— говорит,— я ждать буду.

А тетеньки тоже за полночь не почивали, перессорились через стену. И комнаты-то у них смежные, и стенки тонкие — все им в удовольствие.

На другой День смятение такое в доме… Чем свет поднялась Федосья Павловна, чем свет и Марья Павловна застонала. Все впопыхах, в приготовлениях; а повар так заплакал даже. Приказание ему за приказанием, и вдруг все отменят, придумают другое, а человек-то основательный, обидно ему стало: сложил этак руки на груди и заплакал.

Барышню разодели, разрядили и вывели в гостиную, посадили. Пылало у нее лицо, и смущена она, тревожна была.

— Слава тебе, господи! — говорит Федосья Павловна.— Румянец в лице есть. Только чего в землю-то глядишь? Ведь может человек и нивесть что о тебе помыслить!

Уж и полдень на дворе. Ждем не дождемся.

Вдруг верховой под крыльцо.

— Откуда? Что такое?

— С письмом к Федосье Павловне от Ластиковой барыни.

Престарелая была эта барыня Ластикова, хворая и одинокая, и до страсти она любила свадьбы улаживать; только этим и душу свою отводила. Даже окружные священники боялись ее: "Наживем мы себе беду с этою Ластиковой: того и гляди перевенчаешь или кумовьев, или родственников". В страсти ничего не соображала она, лишь бы перевенчать,— бедных с богатыми, старых с молодыми, ей все равно было. Давненько это она без дела была, а тут к ней приехал племянник

из своей вотчинки. Федосья Павловна аукнула, она откликнулась, да и давай свадьбу ладить.

Схватила письмо вне себя Федосья Павловна, взорвала, прочла, обомлела и стоит… Потом опомнилась, пошла, написала ответ, отдала и отправила верхового.

— Анночка! — говорит барышне.— Разденься; он не может быть сегодня.

А Марья Павловна уж проведала, уж выздоровела.

— А что ваш гость? — посмеивается.— Или не будет?

— Вы ко мне не приставайте,— отвечает Федосья Павловна,— я и так сердита!

— Сердитесь не сердитесь, не приедет!

— А вы это куда расправили крылья хищные?

Видит, собралась куда-то, и лошади поданы.

— А я еду к отцу Петру; попрошу молебен отслужить.

— А! Так вот что!. Так это вы мне намолили радость такую?.

И пошли! Отвели душу. Та уехала, а Федосья Павловна поуспокоилась немножко.

— Анночка! — говорит.— Завтра ты рано домой отъезжай. Он к вам будет; я написала, чтоб он к вам прямо приехал. Не проговорись ты… Ну, глупа-глупа, да все пойми свою пользу… И сестре твоей я через

Сергеевну прикажу, чтоб она не выходила к нему. Он дня через четыре приедет, как своего дядю проводит. Тетка его пишет, что дядя к ним теперь приехал,— принесла его нелегкая вовремя! А после дядиной смерти он наследник, надо уважать: ты понимаешь ли это? Пойми ж хоть что-нибудь!. Не огорчайся, однако, посмелей будь. Да не говори ничего и Сергеевне покуда… Все ведь люди предатели!.

Ну, а барышня первое времечко улучила и все Сергеевне пересказала. Пошептались, друг дружке улыбнулись.

На другой день, еще темь, а нас Федосья Павловна выпроводила домой.

Старшей сестрицы мы дома не нашли: уехала в город. Сергеевне был приказ дождаться его приезда, так она и осталась ждать. Гадают с барышней да ждут-дожидают.

На третий день видим, во двор сани катят; в санях барин какой-то молодой.

Я к барышне; вхожу, она, смятенная такая, сидит подле Сергеевны, карты разложены на столике.

— Барышня,— говорю,— пожалуйте в гостиную, чей-то барин приехал.

— Я знаю,— отвечает,— я иду.

Ждали его на завтра. Видеть ей тоже нельзя было,— окна не на двор, а в сад у нее — по картам они знали.

— Одеваться будете? — спрашиваю.— Какое платье прикажете?

Она поглядела на меня, словно не поняла. Лица живого на ней не было. Перекрестилась и пошла к нему в гостиную, как была — в домашнем платьице.

А в гостиной у окна спокойный какой-то красавец стоит.

Спокойно себе обернулся, спокойно барышню оглянул и поклонился ей ловко.

А она, бедняжечка, стала на пороге, дрожит вся.

Он немножко, этак про себя, усмехнулся.

— Анну ли Михайловну счастье имею видеть? — спросил чистым голосом да ровным.

А у Анны Михайловны в ответ ему — слезы в три ручья.

Маленечко его покоробило,— ну, тотчас нашелся.

— Не угодно ли сесть вам? — говорит и стул ей придвинул.

Она переступила к столу и села Он подле нее постоял; видит, что не попросит,— сам сел.

— Жалел я как,— говорит,— что не мог быть у вашей тетеньки в воскресенье! Дядя мой посетил нас; старый человек… почитать его надо.

Она все молчит.

— И тетенька моя как хотела вас видеть! Не могла она приехать сама! Она уж десять лет из дому никуда…

Она все молчит.

— Я сам поспешил к вам, почтение свое засвидетельствовать поскорее, днем раньше… Не впору, может? Вы не ждали…

— Я все ждала,— проговорила.

Он на нее глянул этак: не ослышался ли, мол, я?

— Что изволите сказать?

— Я ждала.

— Кого-с?

Она со слезами на него посмотрела. Он понял, что ждала его, и удивился… Заговорил о святках, спросил, что работает, какое рукоделье. Не знаю, впопад ли отвечала она ему, а он говорил складно и обо всем по порядку.

Обеденная пора пришла. Велела Сергеевна стол им накрыть и позвала их обедать. А обед, какой был, такой и подали. Как полюбится, так и в скудости, и вчерне полюбится, говорила Сергеевна, а барышня и не заметила, что на столе. Он, почитай, один и отобедал, один и разговор вел.

После обеда скоро откланиваться начал, прощаться; этак все: "Буду счастие иметь" — да: "Величайшее удовольствие". А она просто и прямо от души своей: "Когда вас опять увижу?"

Обещался ей скоро быть и уехал.

А барышня, как провела его, все вслед глядит.

Подошла Сергеевна, уж ни о чем не спрашивает. Взяла ее за руку, от дверей отвела.

И чудное с барышней было: как-то она словно переродилась. Лицо стало такое… вот как у очень маленьких детей, у младенцев бывает: ясное да безмятежное, а глаза все слезами наполняются.

И уложила ее спать Сергеевна в тот вечер, как ребенка. И тотчас она глаза сомкнула; спит, кажись, и вдруг очнется: хлынут такие-то веселые у ней слезы, и опять забудется.

Приехала старшая сестрица, узнала: "Слава богу! Если б он на тебе женился, Анночка! Только не гляди так странно… или ты, душа моя, рехнулась с радостей?"

Сергеевна на другой день поехала, тетенек уведомила. Обе прибыли встречать его. Приезжает и он; всем показался. Федосье Павловне торжество, от его тетки письмо пришло к ней, что племяннику невеста по нраву. А на Марью Павловну хворость сейчас напала.

Вышла познакомиться и сестрица старшая. Смиренницей такой вышла, глазки опустивши; ну, а глянет, будто говорит: "Могу я вас заполонить, могу; только по доброте своей не хочу обижать никого… а могу!"

Вывели и Анну Михайловну. Она и поклониться ему не сумела. Стала, стоит, будто за приказом каким вошла. Да уж как-то Федосья Павловна изловчилась, посадила ее рядышком с ним.

Обедать его опять просили, и ночевать оставили. Вышла и Марья Павловна со стонами, этакою сиротою казанскою; познакомилась.

И все она старшую сестрицу прикликает то за тем, то за другим: желает, чтоб ею полюбовался. Да Федосья Павловна старшей близко не допускает, шлет по хозяйству ее, высылает.

Вот и повадился он ездить к нам. Раз и два в неделю приедет. Ждет-то барышня его, бывало, ждет-то как! Душа ее навстречу ему. А он?. Неторопливый себе человек уродился. Он был барин нраву спокойного. Любил за чаем сидеть-прохлаждаться; любил в гости съездить; соловьев любил послушать; все в свою меру.

Случалось, что и умилится, бывало, немножечко: склонит голову на правую сторону и поглядит барышне в глаза. Она земли под собой не чует: прибежит в свою горенку, на коленах перед образами в слезах, в счастье, целые ночи изливается... А он отойдет, почнет насвистывать "Тройку удалую", и тоже ему приятно.

У нас, в нашем звании, такие в огородники больше идут, а то и в мещане выпишутся; находчивые и спокойные люди: им и привольно, и хорошо, и удача. Всегда он ловко, бывало, на крылечко вспрыгнет, мерно в хоромы войдет. Где ж такому торопиться! Такие резвы — вот если разве припустить за ними собаку с цепи.

Взойдет, бывало, а она уже в дверях.

— Здравствуйте, Анна Михайловна.

И к ее ручке приложится слегка, и отдохнуть сядет; о сестрице спросит,— тоже не забудет. Ну, а она счастлива.

И господи! Иной раз можно себе взлелеять такое счастье необъятное, что сам в нем тонешь, а на деле-то ничего не бывало. Человек — великий бреда!

Так все это длилось до весны. А у тетеньки Марьи Павловны в сердце нож острый. Уж как она ни билась, как ни юлила, чтобы к старшей переманить, ничего не берет.

Кроме того, что Федосья Павловна огораживает и защищает его, что коршун детеныша, он и сам себе рассудил: старшая хорошенькая барышня и сметливая, а эта добрее, уживчивее будет, а приданое одинаково у них. Ну, и видел, что старшая больше красой своей потешаться желает, а эта душу всю свою на него положила.

А старшая-то начинала уж досадовать на него: подстрекала всячески ее тетенька Марья Павловна и мутила.

— Что же это, Любочка, или Анночка-то лучше тебя?. Любочка, а ведь Анночка, скажу не лестно, Анночка хорошеет!

Любовь Михайловна знала свою тетеньку, знала, что к чему говорится. А все ей досадно было. Не то чтоб она хотела у меньшой сестры жениха отбить, но только ей обидно было, что он ни крошечки ею не пленился и не пожалел. Обидно ей это было, и даже хозяйничать она стала не с прежней охотой. И она, и тетеньки за это время исхудали от всяких и тревог, и страхов, и надежд, и досад.

Только меньшая расцветала: право, даже из себя по-лучшала. Робкою была, робкою и осталася, еще робче, да нежность у ней в лице такая разлилася. Ходит, бывало, и смотрит, вот точно у ней дитя дорогое на руках усыплено — что и боится разбудить, и хочет, чтоб про снулося, и чует его при себе.

Приедет Андрей Андреич — жениха Андрей Андреич звали — она прямо идет к нему и приютится около.

Старшая сестрица сколько раз ей выговаривала:

— Что это, Анночка, не отходишь от него шагу, словно пришитая! Он, верно, подумает, что ты уж и без ума от него!

— А что ж? — спросит.

— Ах, боже ты мой! — ахнет сестрица.— Вот уж, кто нового не видал, тот и ветоши рад!

И по хозяйству после всем недовольна.

А Сергеевна утешалась.

— Живи, живи, дитятко! — приговаривала.— Живи, коли живется! Будет чем жизнь помянуть!

Все, думали, слажено. Ждали только, что вот он посватается или в петровки, или после Петрова дня. И уж Федосья Павловна порешила, чтобы свадьбу не откладывать — сыграть поскорей, и все уж к свадьбе готовили. Обе тетеньки уж у нас это время живмя жили.

Вот и петровки пришли. Приехал он к нам, обедал и ночевать остался.

Только ранним утром шум, крик, вопль. Господи! Света преставление!.

Выскочила Федосья Павловна неумойкой, в одной кацавейке, кричит:

— Лошадей, лошадей ему запрягать! Лошадей ему подавать!

А сама прямо к Андрею Андреевичу в комнату стучит. Он приотворил дверь да из двери:

— Несчастие? Пожар? — спрашивает. А она ему в ответ плечом в дверь: так его и откинула…

— Извольте-ка, батюшка, восвояси убираться подобру-поздорову!

Он еще не прибрался совсем: с гребешочком в руках перед нею стоит, удивляется:

— Да что же такое!

— Чтобы вы не были и не показывались в этом доме! Попробуйте-ка наведаться: ног, батюшка, не унесете!

Вспыхнул он маленько… да сейчас рассудил: чего горячиться? Как бы там ни было, пускай беснуются, а я не стану!

Вышел, сел и уехал со двора.

Весь дом внедомеке, все переполошились. На старшую сестрицу Федосья Павловна грозою; Марья Павловна заступается… Кричат-то, кричат обе!. Старшая, кажись, тоже ничего не понимает.

В тревоге, в испуге вбежала Анна Михайловна.

— Благодари родную сестрицу, поддоброхотила она тебе! И тетеньке поклонись! — толкает ее Федосья Павловна.— Обеим поклонись.

Тут и объясняется, что Андрей-то Андреевич за старшую барышню посватался.

Как уверили в том, вразумили Анну Михайловну, она так и грянулась об пол. Без памяти вынесли.

Содом какой у нас поднялся! Не доведи господи никому попасть! Вздохнули мы повольней, как тетеньки уехали, а то уж невмочь приходилося. Даже барышня старшая раз плакала.

А Анна Михайловна лежит в своей горенке. Не больна, да хуже всякой больной: как-то словно разбилась она вся.

Покуда Сергеевна у нас была, то поплачет, бывало, над ней; только уж она и с Сергеевной ни слова об нем, ни слова. Просили мы Сергеевну:

— Утешьте вы Анну Михайловну, успокойте!

— Живое горе бередить не надо,— ответила. Сама старушка крепко затужила.

— От судьбы своей не уйдешь,— приговаривала,— в чистом ли поле, в темном ли лесе — найдет свое. И живи, бедный человек, и терпи, а там и в могилку: и отдохнешь, заснешь. А что кручиною возьмешь? Что слезами поможешь? Плачь и сокрушайся себе в утеху, а судьба судьбой…

Говорила это старушка и плакала сама.

Крепко ей от нас уезжать не хотелось. А отъезжая, наказывала:

— Не тревожьте вы ее ничем: не подходите, не спрашивайте.

Знала она, что тяжело, видно, ей всякое слово.

Через сколько уж время, старшая сестрица, между прочими речами, говорит Анне Михайловне:

— Я и до сих пор ничего тут не понимаю… Он мне самой ничего не сказал.

Так она жалко застонала, что Любовь Михайловна хоть плечиками пожала на нее, а сейчас смолкла.

А Андрей Андреич ни сном ни духом виноват не был. Все обман. Все дело рук Марьи Павловны.

Как женился он,— а женился он той же осенью,— мы настоящее дело-то все тогда и узнали; сама Марья Павловна захотела похвалиться.

— Я,— говорит,— уж совсем не знала, что тогда делать. Хожу по саду ввечеру, отчаянная… Все кончено, всему конец: за Анночку он посватается… И вдруг, будто божеское осенение на меня: "Обману я, скажу-ка, что он за Любочку сватается! Федосья-то Павловна и ярости своей всему поверит…" И точно, все, как нельзя лучше, вышло!

Как услышала это Федосья Павловна, голос от гневу потеряла. Хочет вскрикнуть — голосу нету! Так с той поры и пропал голос, а какой звонкий был. И разные с ней обмороки тут, и всякие обмирания. Сама Марья Павловна оторопела, ускользнула и заперлась в своей комнате.

— Напой, Любочка, напой ее липовым цветом! — говорит Любовь Михайловне.

Любовь Михайловна этою вестью и сама что-то была словно уколота.

А у горькой Анны Михайловны только губки побелели крошечку, как услышала.

Тут нашей старшей барышне замужество. Пришел полк в наш город. Стала она ездить туда чаще да чаще. Там, глядим, к нам полковник пожаловал. Этакий дородный, пучеглазый, лет уж за сорок человек, что,

кажись, ему бы только на именинах пировать, да за здоровье пить, а не по летам зазнобчив был. Уж такой зазнобчивый, что боже упаси! И все он барышне признавался: "Я,— говорит,— я для любви рожден!"

Она этак улыбнется ему; дескать, очень хорошо это.

"Я,— признается все,— человек теперь горемычный; сижу иногда в нежных мыслях и что вижу перед собой? Усач какой-нибудь ощетинится, стоит с докладом". Честил это, видно, своих капитанов разных и майоров.

Этак все рассказывал, рассказывал, да раз на колени перед ней со всех ног: "Ваше имя Любовь, как могу я устоять? Осчастливьте! А то,— заверяет,— я погибну! Не хочу ни чинов, ни почестей добиваться; так и умру полковником!"

Ну, она: "Боже мой! Зачем умирать?" Я, мол, вас осчастливлю. И тут же они кольцами обменялись. А приданое у ней уже давно было заготовлено,— так через две недели и свадьбу сыграли.

Обед задали пышный. Весь полк накормили и напоили.

И всех зазнобила молодая хозяйка. Веселая да ловкая — хороша была! Сам полковник-то словно в уме тронулся от счастия своего: вынет это платок из кармана, встряхнет и опять спрячет; или ни с того, ни с сего возьмет полный стакан воды и за окошко выльет. Даже генерал, важный человек, суровый, все будто наказать кого собирается, и тот загляделся на молодую.

— Ваше превосходительство!— кто-то его окликнул.

— Что мое превосходительство! — говорит и рукой махнул: так позавидовал!

Переехала полковница молодая в город на житье. Отпала охота у тетенек нас проведывать. Одна в доме осталась Анна Михайловна.

Сергеевна скоро померла. Да и Анна Михайловна пожила недолгий век: с того дня так и не поправлялась.

Об Андрее Андреевиче не поминала она никогда, а в душе повсегда его имела. Знала, что уж женат, и все об нем гадала. Напоследок вся гаданьям тем и предалася, жила ими. И гадает о нем, бывало,— выйдет ли ему бубновая радость, веселая дорога, она задумывается: какая ему радость? Куда ему дорога веселая? Выйдет ему пиковый удар, она пуще еще тревожится: какой это удар ему?

А ему ни пиковых, ни каких ударов. Завел, слышали, вороных лошадей да усы отпустил. Жил он себе припеваючи, а она всю ему душу свою расточала до капли самой последней.

Так и до смерти дожила. Уж слабыми руками, бессильными, все карты раскладывала, все еще гадала. Может, часа за два только до смерти она о нем гадала, и думала-размышляла, что хорошо ему вышло.

— Ни одной печальной карточки,— говорила про себя,— все около него веселые легли; ему хорошо, ему весело…

С вечера этак говорила, гадала, а в ночь и скончалась.